www.LibAid.Ru – сайт-энциклопедия литературных произведений

### Владимир Маяковский ОБЛАКО В ШТАНАХ

Вашу мысль

мечтающую на размягченном мозгу,

как выжиревший лакей на засаленной кушетке,

буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;

досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,

и старческой нежности нет в ней!

Мир огро́мив мощью голоса,

иду — красивый,

двадцатидвухлетний.

Нежные!

Вы любовь на скрипки ложите.

Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,

чтобы были одни сплошные губы!

Приходи́те учиться —

из гостиной батистовая,

чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,

как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —

буду от мяса бешеный

— и, как небо, меняя тона —

хотите —

буду безукоризненно нежный,

не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!

Мною опять славословятся

мужчины, залежанные, как больница,

и женщины, истрепанные, как пословица.

### 1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,

было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.

Девять.

Десять.

Вот и вечер

в ночную жуть

ушел от окон,

хмурый,

декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут

канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:

жилистая громадина

стонет,

корчится.

Что может хотеться этакой глыбе?

А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно

и то, что бронзовый,

и то, что сердце — холодной железкою.

Ночью хочется звон свой

спрятать в мягкое,

в женское.

И вот,

громадный,

горблюсь в окне,

плавлю лбом стекло окошечное.

Будет любовь или нет?

Какая —

большая или крошечная?

Откуда большая у тела такого:

должно быть, маленький,

смирный любёночек.

Она шарахается автомобильных гудков.

Любит звоночки коночек.

Еще и еще,

уткнувшись дождю

лицом в его лицо рябое,

жду,

обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,

догна́ла,

зарезала,—

вон его!

Упал двенадцатый час,

как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые

свылись,

гримасу громадили,

как будто воют химеры

Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!

Что же, и этого не хватит?

Скоро криком издерется рот.

Слышу:

тихо,

как больной с кровати,

спрыгнул нерв.

И вот,—

сначала прошелся

едва-едва,

потом забегал,

взволнованный,

четкий.

Теперь и он и новые два

мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —

большие,

маленькие,

многие! —

скачут бешеные,

и уже

у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —

из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,

будто у гостиницы

не попадает зуб на́ зуб.

Вошла ты,

резкая, как «нате!»,

муча перчатки замш,

сказала:

«Знаете —

я выхожу замуж».

Что ж, выходи́те.

Ничего.

Покреплюсь.

Видите — спокоен как!

Как пульс

покойника.

Помните?

Вы говорили:

«Джек Лондон,

деньги,

любовь,

страсть», —

а я одно видел:

вы — Джиоконда,

которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,

огнем озаряя бровей за́гиб.

Что же!

И в доме, который выгорел,

иногда живут бездомные бродяги!

Дра́зните?

«Меньше, чем у нищего копеек,

у вас изумрудов безумий».

Помните!

Погибла Помпея,

когда раздразнили Везувий!

Эй!

Господа!

Любители

святотатств,

преступлений,

боен,—

а самое страшное

видели —

лицо мое,

когда

я

абсолютно спокоен?

И чувствую —

«я»

для меня мало́.

Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allo!

Кто говорит?

Мама?

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Мама!

У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле, —

ему уже некуда деться.

Каждое слово,

даже шутка,

которые изрыгает обгорающим ртом он,

выбрасывается, как голая проститутка

из горящего публичного дома.

Люди нюхают —

запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Я сам.

Глаза наслезнённые бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.

Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!

Рухнули.

Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем

из трещины губ

обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!

Петь не могу.

У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел

из черепа,

как дети из горящего здания.

Так страх

схватиться за небо

высил

горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям

в квартирное тихо

стоглазое зарево рвется с пристани.

Крик последний, —

ты хоть

о том, что горю, в столетия выстони!

### 2

Славьте меня!

Я великим не чета.

Я над всем, что сделано,

ставлю «nihil»[[1]](http://flibusta.is/b/304673/read" \l "n_1" \o ).

Никогда

ничего не хочу читать.

Книги?

Что книги!

Я раньше думал —

книги делаются так:

пришел поэт,

легко разжал уста,

и сразу запел вдохновенный простак —

пожалуйста!

А оказывается —

прежде чем начнет петься,

долго ходят, размозолев от брожения,

и тихо барахтается в тине сердца

глупая вобла воображения.

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,

из любвей и соловьев какое-то варево,

улица корчится безъязыкая —

ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,

возгордясь, возносим снова,

а бог

города на пашни

рушит,

мешая слово.

Улица му́ку молча пёрла.

Крик торчком стоял из глотки.

Топорщились, застрявшие поперек горла,

пухлые taxi[[2]](http://flibusta.is/b/304673/read" \l "n_2" \o ) и костлявые пролетки.

Грудь испешеходили.

Чахотки площе.

Город дорогу мраком запер.

И когда —

все-таки! —

выхаркнула давку на площадь,

спихнув наступившую на горло паперть,

думалось:

в хо́рах архангелова хорала

бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:

«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики

грозящих бровей морщь,

а во рту

умерших слов разлагаются трупики,

только два живут, жирея —

«сволочь»

и еще какое-то,

кажется — «борщ».

Поэты,

размокшие в плаче и всхлипе,

бросились от улицы, ероша космы:

«Как двумя такими выпеть

и барышню,

и любовь,

и цветочек под росами?»

А за поэтами —

уличные тыщи:

студенты,

проститутки,

подрядчики.

Господа!

Остановитесь!

Вы не нищие,

вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,

с шагом саженьим,

надо не слушать, а рвать их —

их,

присосавшихся бесплатным приложением

к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:

«Помоги мне!»

Молить о гимне,

об оратории!

Мы сами творцы в горящем гимне —

шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,

феерией ракет

скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!

Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге

кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,

златоустейший,

чье каждое слово

душу новородит,

именинит тело,

говорю вам:

мельчайшая пылинка живого

ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!

Проповедует,

мечась и стеня,

сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!

Мы

с лицом, как заспанная простыня,

с губами, обвисшими, как люстра,

мы,

каторжане города-лепрозория,

где золото и грязь изъя́звили проказу, —

мы чище венецианского лазорья,

морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет

у Гомеров и Овидиев

людей, как мы,

от копоти в оспе.

Я знаю —

солнце померкло б, увидев

наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.

Нам ли вымаливать милостей времени!

Мы —

каждый —

держим в своей пятерне

миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий

Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,

и не было ни одного,

который

не кричал бы:

«Распни,

распни его!»

Но мне —

люди,

и те, что обидели —

вы мне всего дороже и ближе.

Видели,

как собака бьющую руку лижет?!

Я,

обсмеянный у сегодняшнего племени,

как длинный

скабрезный анекдот,

вижу идущего через горы времени,

которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,

главой голодных орд,

в терновом венце революций

грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;

я — где боль, везде;

на каждой капле слёзовой течи

ра́спял себя на кресте.

Уже ничего простить нельзя.

Я выжег души, где нежность растили.

Это труднее, чем взять

тысячу тысяч Бастилий!

И когда,

приход его

мятежом оглашая,

выйдете к спасителю —

вам я

душу вытащу,

растопчу,

чтоб большая! —

и окровавленную дам, как знамя.

### 3

Ах, зачем это,

откуда это

в светлое весело

грязных кулачищ замах!

Пришла

и голову отчаянием занавесила

мысль о сумасшедших домах.

И —

как в гибель дредноута

от душащих спазм

бросаются в разинутый люк —

сквозь свой

до крика разодранный глаз

лез, обезумев, Бурлюк.

Почти окровавив исслезенные веки,

вылез,

встал,

пошел

и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,

взял и сказал:

«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту

душа от осмотров укутана!

Хорошо,

когда брошенный в зубы эшафоту,

крикнуть:

«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,

бенгальскую,

громкую,

я ни на что б не выменял,

я ни на…

А из сигарного дыма

ликерною рюмкой

вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом

и, серенький, чирикать, как перепел!

Сегодня

надо

кастетом

кроиться миру в черепе!

Вы,

обеспокоенные мыслью одной —

«изящно пляшу ли», —

смотрите, как развлекаюсь

я —

площадной

сутенер и карточный шулер!

От вас,

которые влюбленностью мокли,

от которых

в столетия слеза лилась,

уйду я,

солнце моноклем

вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,

пойду по земле,

чтоб нравился и жегся,

а впереди

на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,

заерзает мясами, хотя отдаться;

вещи оживут —

губы вещины

засюсюкают:

«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг

и тучи

и облачное прочее

подняло на небе невероятную качку,

как будто расходятся белые рабочие,

небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,

громадные ноздри задорно высморкал,

и небье лицо секунду кривилось

суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,

запутавшись в облачных путах,

вытянул руки к кафе —

и будто по-женски,

и нежный как будто,

и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —

это солнце нежненько

треплет по щечке кафе?

Это опять расстрелять мятежников

грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —

берите камень, нож или бомбу,

а если у которого нету рук —

пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,

потненькие,

покорненькие,

закисшие в блохастом гря́зненьке!

Идите!

Понедельники и вторники

окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,

кого хотела опошлить!

Земле,

обжиревшей, как любовница,

которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,

как у каждого порядочного праздника —

выше вздымайте, фонарные столбы,

окровавленные туши лабазников.

Изругивался,

вымаливался,

резал,

лез за кем-то

вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,

вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,

перекусит

и съест.

Видите —

небо опять иудит

пригоршнью обрызганных предательством звезд?

Пришла.

Пирует Мамаем,

задом на город насев.

Эту ночь глазами не проломаем,

черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,

вином обливаю душу и скатерть

и вижу:

в углу — глаза круглы,—

глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному

сиянием трактирную ораву!

Видишь — опять

голгофнику оплеванному

предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я

в человечьем меси́ве

лицом никого не новей.

Я,

может быть,

самый красивый

из всех твоих сыновей.

Дай им,

заплесневшим в радости,

скорой смерти времени,

чтоб стали дети, должные подрасти,

мальчики — отцы,

девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти

пытливой сединой волхвов,

и придут они —

и будут детей крестить

именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,

может быть, просто,

в самом обыкновенном Евангелии

тринадцатый апостол.

И когда мой голос

похабно ухает —

от часа к часу,

целые сутки,

может быть, Иисус Христос нюхает

моей души незабудки.

### 4

Мария! Мария! Мария!

Пусти, Мария!

Я не могу на улицах!

Не хочешь?

Ждешь,

как щеки провалятся ямкою,

попробованный всеми,

пресный,

я приду

и беззубо прошамкаю,

что сегодня я

«удивительно честный».

Мария,

видишь —

я уже начал сутулиться.

В улицах

люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,

высунут глазки,

потертые в сорокгодовой таске, —

перехихикиваться,

что у меня в зубах

— опять!—

черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,

лужами сжатый жулик,

мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,

а на седых ресницах —

да! —

на ресницах морозных сосулек

слезы из глаз —

да! —

из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,

а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:

лопались люди,

проевшись насквозь,

и сочилось сквозь трещины сало,

мутной рекой с экипажей стекала

вместе с иссосанной булкой

жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?

Птица

побирается песней,

поет,

голодна и звонка,

а я человек, Мария,

простой,

выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?

Пусти, Мария!

Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.

На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы

в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!

Не бойся,

что у меня на шее воловьей

потноживотые женщины мокрой горою сидят,—

это сквозь жизнь я тащу

миллионы огромных чистых любовей

и миллион миллионов маленьких грязных любят.

Не бойся,

что снова,

в измены ненастье,

прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —

«любящие Маяковского!» —

да ведь это ж династия

на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,

в боящейся дрожи ли,

но дай твоих губ неисцветшую прелесть:

я с сердцем ни разу до мая не дожили,

а в прожитой жизни

лишь сотый апрель есть.

Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,

а я —

весь из мяса,

человек весь —

тело твое просто прошу,

как просят христиане —

«хлеб наш насущный

даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!

Имя твое я боюсь забыть,

как поэт боится забыть

какое-то

в муках ночей рожденное слово,

величием равное богу.

Тело твое

я буду беречь и любить,

как солдат,

обрубленный войною,

ненужный,

ничей,

бережет свою единственную ногу.

Мария —

не хочешь?

Не хочешь!

Ха!

Значит — опять

темно и понуро

сердце возьму,

слезами окапав,

нести,

как собака,

которая в конуру

несет

перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,

липнет цветами у пыли кителя.

Тысячу раз опляшет Иродиадой

солнце землю —

голову Крестителя.

И когда мое количество лет

выпляшет до конца —

миллионом кровинок устелется след

к дому моего отца.

Вылезу

грязный

(от ночевок в канавах),

стану бок о бо́к,

наклонюсь

и скажу ему на́ ухо:

— Послушайте, господин бог!

Как вам не скушно

в облачный кисель

ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте — знаете —

устроимте карусель

на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,

и вина такие расставим по́ столу,

чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу

хмурому Петру Апостолу.

А в рае опять поселим Евочек:

прикажи, —

сегодня ночью ж

со всех бульваров красивейших девочек

я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?

Супишь седую бровь?

Ты думаешь —

этот,

за тобою, крыластый,

знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —

сахарным барашком выглядывал в глаз,

но больше не хочу дарить кобылам

из севрской му́ки изваянных ваз.

Всемогущий, ты выдумал пару рук,

сделал,

что у каждого есть голова, —

отчего ты не выдумал,

чтоб было без мук

целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всесильный божище,

а ты недоучка, крохотный божик.

Видишь, я нагибаюсь,

из-за голенища

достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты!

Жмитесь в раю!

Ерошьте перышки в испуганной тряске!

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою́

отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.

Вру я,

в праве ли,

но я не могу быть спокойней.

Смотрите —

звезды опять обезглавили

и небо окровавили бойней!

Эй, вы!

Небо!

Снимите шляпу!

Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,

положив на лапу

с клещами звезд огромное ухо.

*[1914–1915]*